

“МЫ - СЧАСТЛИВЫЕ...”



***Дворовый фасад дома
на Казанской улице.***

В воскресенье 22 июня 1941 года совершенно неожиданно началась война. Мне в это время было пять с половиной лет. Мы, мои родители и я, жили дружно и весело в г. Ленинграде в довольно большой комнате маленькой коммунальной квартиры на первом этаже дома № 5 по ул. Плеханова (теперь Казанская ул.) Два окна на первом этаже на дворовом фасаде нашего дома справа – это окна нашей комнаты. Этот снимок сделан совсем недавно, но по-моему, во дворе ничего не изменилось с той давней поры, только на стеклах окон нет наклеенных крест на крест бумажных полос, как в войну.

В то злополучное воскресенье родители собирались, наконец, решить окончательно, как я буду отдыхать летом. Решать не пришлось. Папа в этот день ушел в военкомат и вернулся только попрощаться. 23-го июня с первым отрядом ополченцев-добровольцев он ушел защищать наш город. Его направили в войска ПВО (Войска противовоздушной обороны).

Моя семья до войны



***Мама – Елькина Циля Петровна
Папа – Шкляревский Яков Моисеевич***



и я – Софочка – «наш малыш»

Война очень быстро подошла к городу. Уже в июле нас и бомбили и обстреливали, а восьмого сентября началась блокада.

В начале войны я ходила в Детский садик, который находился в переулке Крылова. Ближайшее к нашему садiku бомбоубежище было в подвале дома на углу пл.Островского и ул.Зодчего Росси. Мне запомнилось, как воспитательница буквально гнала нас по переулку к бомбоубежищу во время тревоги, а я всё упиралась потому, что от моей туфельки оторвалась пуговица и я хотела найти её на мостовой понимая, что мне здорово попадёт от мамы.

Однажды я чуть приболела, и мама оставила меня на денёк дома. В свой садик я больше не вернулась – в тот день в него попал снаряд.

Меня устроили в садик, который находился во дворе Педагогического института на Мойке. Институт был эвакуирован, а в его здании открыли госпиталь. И кто-то над кем-то шефствовал: не то госпиталь над садиком, не то садик над госпиталем. Похоже, что часть очисток с госпитальной кухни попадало на кухню нашего садика.

А в садике под руководством воспитательницы с очень смешным по детским понятиям отчеством – Мартыновна (потому и запомнилось) мы, в основном рисовали. Мартыновна ещё и вязала носки, приходили люди, приносили какие-то вещи, всё это на столе, где мы рисовали, укладывали в коробки, а сверху клали наши рисунки – это были посылки на фронт. И ещё мы в госпитале давали концерты. Кто-то читал стишок, кто-то песенку пищал тоненьким голосом, а я ещё с одной девочкой танцевала украинский танец. Раненым, я думаю, печально было смотреть на нас, маленьких заморышей, но они хлопали - кто мог/- и давали нам кто сухарик, а кто маленький кусочек колотого сахара. Ах, как мы ждали этого момента!...А потом стало совсем плохо. Садик мой закрыли.

К нам в комнату переехали бабушка и тётя Муся – мамина родная сестра-двойняшка. У бабушки были больные ноги (какое-то заболевание суставов) и она на улицу не ходила, только чуть-чуть по комнате. Мама работала вольнонаёмной в воинской части, которая стояла внутри Апраксина двора, тётя Муся на швейной фабрике им. Володарского, где в единственном оставшемся цеху ремонтировали армейское обмундирование. Они обе получали рабочие карточки (т.е. с 20-го ноября по 250 г. хлеба в день, а мы с бабушкой по 125 г.)

Теперь я весь день проводила с бабушкой. Мы даже по тревоге не выходили из дома. Наше бомбоубежище находилось в подвале Казанского собора. Говорят, хорошее было бомбоубежище, но мы туда никогда не ходили - с бабушкой всё равно же не дойти. Чем я занималась целый день – не помню, помню, что бабушка целыми днями молилась на непонятном мне тогда языке и это было ужасно скучно.

Где-то на работе мама нашла и принесла домой довольно большой кусок технического воска – такой грязно-желтый круг, а тётя Муся принесла обрубок каната из натуральных ниток. У меня появилась работа. Сначала я разбирала канат на отдельные нити, потом мама ножом строгала воск, бабушка его топила, а я делала свечки. Сначала маленькие – это бабушка просила для молитвы на субботу, а потом и побольше – мама велела на всякий случай.

Но светлые чудеса случались и в эти мрачные дни. Расскажу об одном из них. 23 ноября – день моего рождения, мне исполняется шесть лет, но всем, конечно, не до того и вдруг на пороге появляется мой папа. Это ему дали отпуск на несколько дней. Где-то на полях, на старых огородах собрал он и принёс нам целый рюкзак хряпы (это чёрные листья и кочерыжки капусты) и ещё он принес сухари и хлеб – это от своего пайка. Потом он сказал мне: «А это тебе подарок». Он раскрыл ладонь, а там – два маленьких мандаринчика. Где он взял это чудо – не знаю, но это был, кажется, лучший подарок, полученный мной, за всю жизнь.

А потом был у нас пир. Мама как-то очень вкусно сварила эту капусту и хлеб был. Окна, как полагалось, закрыли светомаскировкой, чтобы ни щёлочки не осталось – иначе дежурные будут стучать палкой по нашему подоконнику. Протопили нашу печку-толстушку, накрыли стол и ели, и пили чай со сладкой затирухой (это такая тянучка из декстринового обойного клея с небольшим количеством воды). Потом папа тихонько пел (у него до войны был замечательный голос). Помню, как он пел любимую мамину песню «Мой костёр в тумане светит...». Это было счастье... У папы отпуск был на несколько дней, но утром он ушел.

В декабре папа получил первое ранение, был отправлен в госпиталь, а из госпиталя уже не как ополченец, а как обычный солдат, получил красноармейскую книжку и ушёл на фронт.



Красноармейская книжка моего папы

Я помню треугольники папиных писем и с Ленинградского и с Волховского фронтов. Мы получали их не очень часто, но регулярно.

Мне кажется, что мой День рождения стал тем рубежом, за которым началась жуть блокадной зимы 41-42 года. Не было еды, не было воды, не было тепла, не было света, замёрзла канализация, не ходил транспорт, рушились под бомбами дома и осколки снарядов летали по улицам.

В нашей комнате появилась печка-буржуйка. Она стояла посреди комнаты на железном листе, а труба была выведена в окно. Светомаскировка была уже не нужна: ну, какой свет от коптилки или моей свечки? Одно окно в комнате было совсем закрыто ватным одеялом и другое закрывали наполовину моим матрасиком, а я спала на кровати с бабушкой.

Всегда хотелось есть, непрерывно. Я научилась грызть простые карандаши и деревянные черенки от перьевых ручек. Эта привычка сохранилась у меня надолго, в младших классах школы концы всех моих ручек я грызла, превращая их в кисточки.

Мама с Мусей побывали в бабушкиной квартире и нашли там клад: довольно большое количество столярного клея, такие корявые прямоугольные плитки коричневого цвета (мой дед был столяром). И ещё они нашли много коробочек с порошком сушеной морской капусты (это бабушкино лекарство) и бутылочку рыбьего жира. Мне до сих пор кажется, что студень из столярного клея, приправленный солью и лавровым листиком – довольно вкусная штука. А вот оладьи из смеси обойного клея и морской капусты, поджаренные на рыбьем жире, всё-таки вспоминаются как жуткая гадость.

Воду надо было возить из реки. Наш дом был расположен удачно – между Мойкой и каналом Грибоедова. Возили воду на санках, но из какой реки я не знаю, меня мама и Муся ни разу с собой не брали. Я только помню, как однажды они как-то особенно долго ходили за водой, а привезли только полведра. Бабушка спросила: «А почему только полведра воды?» Мама сказала: «Это не вода. Это полведра слёз».



Очередь за хлебом. 1941 год

На улицу я выходила совсем мало. Иногда мама брала меня с собой в очередь за хлебом. Очереди были огромные, но мы никогда долго не стояли. Нас приходила сменять тётя Муся. Скандалов по этому поводу в очереди не было – они же двойняшки и одеты одинаково. Мама отводила меня домой и я видела по дороге и разрушенные, ещё дымящиеся дома и завернутые в простыни трупы на саночках, но не помню, чтобы меня это как-то трогало. Потом мама уходила сменять тётю Мусю.



На Невском проспекте. 1941 г.

В январе 42-го года в квартире я отморозила руки, да так, что меня отправили в больницу на ампутацию, но старичок-доктор сказал: "Подождём...." и спас мне руки. Правда, потом долго, лет семь, каждую зиму они мучали меня: распухали, наливались какой-то водой, чесались, а если сжать руку в кулак, то кожа моментально лопалась и выступала кровь. Меня поэтому на все школьные годы освободили от физкультуры.

С весны стало легче. По-моему вдвое увеличили норму хлеба. Трава появилась – собирали лебеду, крапиву. Потом все газоны распахали на огороды. Мама получила стахановскую карточку. На неё в столовой напротив Главпочтамта давали какой-то обед. Его приносили домой и делили на всех.



Малый зал Ленинградской филармонии, 1943 г.

В начале 43-го года по радио объявили набор в Строительный техникум ЛЖУ. Лица с незаконченным высшим образованием принимались на последний курс. У мамы за плечами было 4-е курса Химико-технологического института и её приняли на специальность "Эксплуатация жилого фонда". Студентам этого техникума полагалась рабочая карточка. А город ещё и бомбили и обстреливали. Мама рассказывала, что у них в аудитории неразорвавшимся снарядом убило студента.

Я помню, как у нашей горячей буржуйки при моих зажженных свечах мама и её подруга из техникума что-то чертили на больших листах. 25 января 1944 года мама защитила диплом и получила новую специальность.



Мамин диплом. 1944 год

А я пошла учиться первого сентября 43 года – поступила в первый класс школы №221. Она находилась рядом с моим домом.

Недавно я сфотографировала здание моей блокадной школы. Там теперь ресторан и какое-то учреждение и никто, конечно, не помнит, что там было во время войны.



Здание моей блокадной школы. 2012 год

В классе учеников было всего человек восемь. Со мной на одной парте сидела девочка Валя (фамилии не помню) Мы с ней быстро подружились. Когда объявляли тревогу, класс дружно спускался в большой школьный подвал. Там стоял стол, вокруг скамейки, а на столе коптилка. Учительница зажигала коптилку, придвигала её к себе и читала нам книжку, а мы сидели в темноте вокруг стола и чутко прислушивались, не грохнет - ли где-то рядом. И однажды грохнуло, да так, что коптилка на столе подпрыгнула. Ясно, что близко. А рядом со школой мой дом, а напротив – Валин. Учительница говорит: "Спокойно, читаем дальше" и читает. Я толкаю Валю, она всё понимает сразу. Мы дружно, но тихо сползаем со скамейки под стол на песок, которым засыпан пол подвала и почти по-пластунски ползём к дальнему окну. Мы знаем, что там щит не на замке. Становимся на какой-то ящик, чуть приоткрываем щит и мы на улице. На мостовой битое стекло, какие-то железяки и камни. Мне всё понятно и я бегу, не оглядываясь ни на Валю, ни по сторонам к своему дому. Подскальзываюсь на какой-то стекляшке – ладошки и коленки разбиты в кровь. Вскикиваю и снова бегу... Дом наш стоит целёхонький. Бабушка, увидев меня, кричит: «Боже мой, ты жива?». «Всё нормально – говорю – это я бежала к тебе».

А бомба попала в Валин дом. Там была Валина мама. Больше в нашу школу Валя не приходила.

Перестали приносить письма от папы. Мама обратилась в Военкомат. Обещали разобраться. В сентябре пришло уведомление – «пропал без вести». Соседка сказала: «Считай, убили». Но мама не хотела так считать. «Нет - сказала она - он обещал вернуться, а он меня никогда не обманывал». Соседка только покрутила пальцем у виска.

Вот и 44-ый год. Уже почти ни обстрелов, ни авианалётов. А 27-го января была полностью снята блокада города. И был первый в моей жизни салют. Я его помню хорошо. Мы, мама, тётя Муся и я, стояли на улице возле Казанского собора. Вокруг много людей. Было так красиво! Залп - и в небе расцветают зеленые букеты! Я запомнила почему-то только зеленые. Вдруг между залпами я услышала, что кто-то плачет. Обернулась... За моей спиной стояли обнявшись мама и тётя Муся, совсем одинаковые, в ватниках, в платках и у обеих из под платков абсолютно белые волосы. Они плакали... Ни во время блокады, ни после, никогда я не видела мою маму плачущей. И как взрослая маленькой я ей сказала: « Мам, ну, что ты? Смотри, как красиво ...и смешно: стреляют, а налёта нет».

Весной 44-года в настоящем конверте пришло письмо из Казани, а из конверта выпала вот эта фотография моего отца



Папа в госпитале 1944 год

Писала жена маминого брата Женя. Она с заводом ГОМЗ была эвакуирована в Казань и при шефском посещении госпиталя увидела на койке моего отца. Оказывается, в феврале он был тяжело ранен в бою из шестиствольного миномёта, его эвакуировали на медицинском поезде, дорога была очень трудной и долгой, раны загноились. «Но сейчас - писала Женя - врачи говорят, что всё в порядке, только руки после операций ещё забинтованы и он пока не может писать». Женя сфотографировала папу каким-то допотопным любительским фотоаппаратом, фото, конечно, получилось “ не очень”.

Отец вернулся в августе 44-го года, с инвалидной книжкой в кармане, с искалеченной правой рукой и осколками мин в теле.

А в ноябре мы снова праздновали День моего рождения. Мне исполнилось девять лет. На столе была вполне приличная закуска из американских посылок по ленд-лизу, и хлеба было вволю, и какая-то выпивка была, и даже конфеты-подушечки к чаю. Вспоминали ужас блокадных и фронтовых дней и тех, кого мы уже не увидим никогда. Песен не пели. Папа не мог петь – голоса больше не было.

Он просто сказал: **«Знаете, а всё-таки мы – счастливые! Мы выжили».**



МАМА, ПАПА И Я



через 10 лет после войны

Бабушка умерла в начале 1945 года. Муся вышла замуж в том же году.



На Невском пр., 2011 год

Софья Яковлевна Фельдман

Каждый год в день Победы люди несут цветы к памятникам, посвященным блокаде Ленинграда.

Я тоже несу цветы к памятнику на Невском проспекте – это фасад дома, где навеки оставлена знакомая мне с детства надпись:

«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее ОПАСНА!».